

«В застенках рая» — так называется новая книга стихов Виктора Хатеновского, вышедшая в 2018 году в московском издательстве «Русский писатель». «Намеренный ли это вызов или привычный для эпохи постмодерна оксюморон?» — думала я, открывая эту книгу и вспоминая, как несколько лет назад у нас в Дагестане вышла философская поэма классика современной кумыкской литературы Бадрутдина Магомедова под названием «Муки рая». Название вызвало такую бурную реакцию со стороны духовенства, которое, не читая текст, попыталось устроить обструкцию автору, что в переиздании оно уже звучало иначе: «Меж двух миров». Так что можно только порадоваться за свободу художника в общероссийском литературном пространстве, не подверженном давлению со стороны. Впрочем, какая свобода, если даже рай пыточный? В современной поэзии всё труднее встретить чистые жанры (пейзажная, философская, социальная, любовная и так далее), и прозаизация лирики — факт, который отмечают критики, но творчество В. Хатеновского, раскольнический герой которого говорит от имени социальных низов, являет пример того, как под пером Мастера «непоэтическое» становится по-настоящему поэтическим. Любовная лирика, политическая, социальная, философская — всё одинаково сильно и цельно, интонационно богато, богато той экспрессией, когда за самым нежным и просветлённым чувством (чаще всего умело законспирированным) ощущается энергия взрыва и бунта. Диапазон жанров и чувств, доступных автору, кажется, безграничен, нет темы, перед которой он поставил табу, и эта свобода выражения, как смерч, проносится через книгу, нигде не переходя грань эстетической и нравственной меры. И это при том, что народная, площадная стихия языка пронизывает всё — так поразительны его естественность, органика, богатство. И самые смелые и горькие суждения лирического героя — это народная правда — о себе, о стране, о власти.

Сегодня вновь, как тридцать лет назад,
Мы будем петь дурными голосами
Про чёрствый хлеб и про вишнёвый сад,
Про заскорузлый быт в смердящем храме;

Про то, как сброд зажавшихся господ
Златым тельцом раздавлен и разрушен;
Про то, что русский коренной народ
Своей стране давно уже не нужен.

«Монолог русского радикала» — это название-вызов. Там, где власть, борясь с радикализмом, готова увидеть опасность в самом народе, в его боли, в его крике, в его отчаянии, там пропасть: «„Быть или не быть?“! Саграпы у крыльца / Вердикта ждут кремлёвских чужестранцев». Это стихи человека, кровно связанного со своей землёй, а такие люди, как и народ в целом, не говорят пафосных слов о любви, но именно эта любовь и движет ими.

Пугачёвско-разинская смута давно канула в прошлое, но литература нередко обращалась к этим образам, воплощая в них стихию русского бунта. Его бессмысленность и беспощадность очевидна для читателей классика, но такое утверждение, говоря о последствиях, снимает вопрос если не о причинах, то вообще о народе как таковом, его участи. Говорить о нём и от его имени как смысле деятельности великих мира сего и движущей силе истории легко, отражать светлую сторону его жизни, сарафанно-песенную, приятно, а вот всматриваться в его душу любителей мало: темно и страшно, а пристальней кто хочет взглядеться — ударит кипятком такой силы, что с ожогом этим жить уже пожизненно. В девятнадцатом веке Н. А. Некрасов смог гениально выразить эту тему, и это был взгляд человека, увидевшего боль и страдания другого как своё. Двадцатый век не взывал к состраданию, а заговорил в начале века голосом одного из этой народной стихии — голосом Хлопуши с гибельно-пугачёвским размахом, а на исходе столетия — голосом Высоцкого, которым рвал душу всё тот же многомиллионный народ. Времена менялись от очень тяжёлых до тяжёлых, спокойных и почти счастливых, как потом выяснилось. И песни, то есть поэтические голоса, по-разному об этом рассказывали. При определённой степени народности или стилизации, это были индивидуально авторские голоса, поэты писали о народе через призму собственной судьбы, сохраняя дистанцию между автором и героем. У Высоцкого её уже почти нет, при всём понимании индивидуальности

его авторства. Таков же характер соотношения между автором и героем в книге Виктора Хатеновского: это не о народе, это сам народ. Но позвольте, тогда фамилия должна быть знаменитая, в нашей стране такие поэты — уже классики, культивируемые сверху или признанные снизу. Однако нет, те времена ушли, поэзия сегодня — дело незнаемое или интересное самим пишущим. Симулякры сегодня востребованнее оригиналов. Виктор хорошо известен среди профессионально разбирающихся в литературе людей. Автор независимый, стоящий особняком. К модным постмодернистским течениям не примкнул, не ушёл, как во внутреннюю эмиграцию, в мир своего «я», найдя запоминающийся образ или войдя в литературный мейнстрим. И нельзя сказать, что он «ушёл в народ» за способом самовыражения. Нельзя, потому что это и биографическая природность («Батьке»), и органическая стихия собственной жизни, потому и пишется так, как дышится. И этому голосу веришь.

«Это настоящая мужская поэзия», — пишут критики о поэте, меньше всего имея в виду и не самые цензурные выражения. Мужская по брутальности, энергии ритма, лаконичности. Излюбленная форма — восемь строк. Мужское не оттеняется женским — в книге «В застенках рая» тема любви не самая главная. И она интересна в той степени, в какой подчёркивает главное. Ключевые, сквозные темы книги — Жизнь, Смерть, Бог, Человек (юродивый), Народ. Жизнь и Смерть — вот важнейшие темы книги, причём тема смерти подчёркнуто доминирует, именно она интересует автора. Из всех ста семидесяти восьми стихотворений только семь получили название. Два из них — это «Диалог со Смертью» и «Диалог со Смертью-2». Никакого ореола таинственности, ничего зловещего. Смерть максимально очеловечена: обликом, поведением, отношением. Диалог грубовато-приятельский, обмен насмешкой, поддразниванием как приветствие: «„Эй, юродивый!“ — О! Безносяя?» И грубоватая забота о Смерти («Ты пошто стоишь в стужу босая?»), и грубое одёргивание («Что ты ластишься, рвань заборная?»). Но это по форме диалог, потому что первая строка первой строфы и последняя в заключительной строфе из семи и есть обмен приветствием, все остальные строки — это монолог юродивого. Интонационно, по экспрессии он другой, там нет насмешки, это скорее обличение, полное горечи и драматизма. Это яростный монолог, со злой иронией в свой адрес, иронией «исправившегося» человека: «Уж давно не лил водку в горло я». Нет, не ангел («Не пою, не пью — мясо кушаю»). И не с нечистой ведёт разговор: «Да из форточки Бога слушаю». Бытовая сниженность общения с Богом — это не просто отказ от молитвы. Это неприятие той жизни, которая за окном («А за стёклами — копоть, смрад и

грязь»), и попытка низвержения несостоявшегося Отца. В обрамлении грубо-несуразного — сердцевина наболевшего, в котором иступлённость обличения кровавит состраданием и болью.

Я кричу, задрав морду кверху: — Слазь!
Погляди — с вином, с песней, с плясками
Твой народ, как встарь, кормят сказками.

Крик — предельная степень отчаяния, бунт против Бога, равнодушного или бессильного перед народом. Не услышанные в храме, люди взывают к Господу на площади. Звон колокольный заглушает людские голоса, вера и отчаяние идут рядом, и ничего не меняется столетиями:

Но, как встарь, на клич в небо:
«Господи,
Помоги *хоть Ты* жизнь не скомкати!» —
Тишина в ответ, копоть, смрад и грязь,
И плевать Ему — что кричу я: — Слазь

И дальше в трёх строках — вся бездна народной жизни и беспросветности:

И с проклятьями да с молитвами
Спим мы сутками, пьём мы литрами,
Век на привязи ходим, бродим мы...

Это одно из пронзительнейших стихотворений книги. Все маски отброшены, и когда боль освобождается от глумливой иронии, когда душа перестаёт прятаться, она говорит не загадками метафор, а чистым голосом единственно человеческого чувства — сострадания к матерям, сёстрам, братьям, кто в церквях с колен смотрит на распятия:

Сколько горечи в тех глазах больных,
Сколько муки там, сколько веры в них...

Не пишут сейчас так о народе. Стихотворение написано в 1987 году — ещё ничего не предвещало разлома в стране, ещё лихие девяностые были впереди, но — пророческое ли, надвременное ли — слово было сказано. И Бог здесь — не заступник, а жест отчаяния: «Помоги *хоть Ты* жизнь не скомкати». «Жизнь не скомкати» — вот мольба. Вот диагноз, вот боль: жизнь. Не так прожитая и не так проживаемая... Не случилась жизнь. Жизнь проигрывает по всем статьям перед смертью. Она не знает причащения к святому (неумело молится), она не ценит сама себя, потому так быстр переход от жизни к небытию («Бутылка, хлеб... Надгробья»), она однообразно безлика и всегда словно находится перед лицом Смерти, взирающей за каждый действием человека и не доверяющей жизни.

Что такого есть в русской жизни, в её истории, что декорации меняются, время и содержание жизни, а экзистенциально — всё повторяемо? Время, история, народ — эти темы нередко получают ёмкое, афористичное звучание под пером автора.

Стихотворение 1983 года «Всё повторяется...» получает обобщённо-надличное звучание. Образ Времени как ещё одной ипостаси Бога и образ спящего народа, которому снится несбывшееся, символизируют фатальную непересекаемость стремящихся друг к другу начал. Предпоследняя строка переводит смысл из общепhilософского в социальный контекст:

Но, как и встарь,—безмолвствует народ.
И Время крепом обрамляет лица».

При всём внешнем бесстрастии есть в каждом таком стихотворении строка, которая рушится, как тонкий лёд, когда прорывается скорбный вздох измученного и обречённого народа, прорывается, как горлом кровь:

Всё повторяется: пустых бутылок звон,
И —кафедральный разговор металла,
И запах хлеба, и со всех сторон—
Как горлом кровь: «Начать бы всё сначала!»

Взгляд на жизнь через смерть, на поверженную свободу через призму страха—это короткое прозрение и возвращение к привычной лжи. Чем чище был короткий свет, тем тяжелее возвращение в привычную тьму, и потому чистота должна быть отмищена и поругана, а жестокость ненасытна. Почему эту пустоту в душе легче заполнить злом, чтобы само понятие души уничтожить? И что делать с её способностью прорасти из уцелевшей малости? Всё повторяется, свобода сменяется жесточённостью несвободы—и где мера личной и коллективной вины? И надо ли её искать? Не легче ли нарождающиеся проклятые вопросы бытия растаптывать с тем, кто их задаёт, и дать волю демонам в себе?

Кто ещё здесь не распятый?
Всех возьмём на бордаж!

Власть—всегда нелюбимая, преступная, глумливая. Свобода ответит за их грехи:

Вывравшись из волчьей пасти,
Ты нам лучше расскажи,
Как в подвалах на Лубянке
Расчлениют, под «Ура!»
Сжав сапёрные лопатки,
Дел заплочных мастера;

Как в любое время года
С громким чавканьем сапог
Вперемешку с кровью рвота
Бьёт струёй под потолок...»
(«Взгляд на поверженную свободу
через призму страха»)

Жёстко, жестоко, без прикрас. Ради правды, которая на время снимет боль, хлынет горлом. О титулованной мрази, балующейся раем, об убийстве под колокольный звон, о мужиках, развязывающих злые языки после запредельно выпитого, «забыв о рудниках, сбив со рта запоры», об ожесточении как уродливой форме протеста и попытке спрятать истинное, человеческое...

Такие стихи, как у В. Хатеновского, оставляют долгое эхо. Тревожный гул тектонических сдвигов эпохи или скороморшья чудинка, хриплая ярость или смех, бунтарство, вызов или пророческая горечь—за ними всегда бесстрашие и мужество много пережившего, передумавшего человека; но чуткий читатель всегда уловит и отзвуки потаённой и надёжно укрытой от других жизни ранимого, гордого и нежного сердца, лик Человека, посвятившего удивительные строки Марине Цветаевой:

За неженскую
Мощь и силищу
Твоим словом я
Воздух вымощу.
За талант в крови—
На глазах толпы—
Я слезами Вам
Ноги вымыл бы.

Он разный, герой В. Хатеновского, но когда сквозь органичную стихию живой, богатой народной речи проступают молитвенные строки:

Господи, каясь—приветствую тлен...
Только б—достойно дойти до могилы
И—умереть у любимых колен

Когда читаешь классически-прекрасные строки стихотворения «Не потому, что я тебя люблю», восхищаешься удивительно точными и неожиданными образами («Зима ребёнком просится на руки», «Душа... над бездной чуть дыша, стихами греет руки...»), понимаешь, что это Поэт милостью Божьей.